



Гениальный химик
изобретает сыворотку правды.
Наказание неизбежно.

КАРИН БОЙЕ

КАЛЛОКАИН

Young Adult. Легендарные книги

Карин Бойе

Каллокаин

«ЭКСМО»

1940

УДК 821.113.6-312.9

ББК 84(4Шве)6-44

Бойе К.

Каллокаин / К. Бойе — «Эксмо», 1940 — (Young Adult.
Легендарные книги)

ISBN 978-5-04-186746-1

«Каллокаин» — завоевавшая мировую известность антиутопия, написанная шведской писательницей и поэтессой Карин Бойе. Роман стоит в одном ряду с такими знаменитыми антиутопиями, как «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина. Номинация на премию «Прометей» и Retro-Hugo за лучшую научную фантастику. Экранизация в 1981 году. Мировая империя — совершенное государство будущего. Здесь для осуществления тотального контроля за людьми открыто ведется наблюдение. А доносы являются долгом каждого порядочного гражданина. Химик Лео Калль — верный сторонник правящего режима. Он разрабатывает сыворотку правды «каллокаин», которая способна раскрывать чувства и самые сокровенные мысли людей. Теперь предатели будут разоблачены один за другим. Очень скоро Лео начинает подозревать свою жену в измене и решает с помощью сыворотки узнать правду. Но разве не удивительно, что все на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным? Об авторе Карин Бойе — шведская писательница, поэтесса, переводчица, критик, одна из наиболее ярких представительниц «новой волны» в литературе. «Каллокаин» — последнее произведение, опубликованное при жизни автора, он был написан за год до самоубийства Бойе. Посмертный сборник ее стихотворений «Семь смертных грехов» вышел в 1941 году.

УДК 821.113.6-312.9

ББК 84(4Шве)6-44

ISBN 978-5-04-186746-1

© Бойе К., 1940

© Эксмо, 1940

Содержание

* * *	7
* * *	11
* * *	14
* * *	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Карин Бойе

Каллокаин

Karin Boye
KALLOCAIN

© Дмоховская И., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023



То, что я сижу и пишу книгу, наверное, многим покажется бессмыслицей. Не знаю, впрочем, уместно ли тут слово «многие», ведь вряд ли кто-то вообще узнает об этом. Я начал писать не по чьему-либо принуждению, а добровольно, хотя и сам не могу объяснить зачем. Это стало моей потребностью – вот и все объяснение. В наши дни, когда ничего не делается без определенной цели, я один поступаю вопреки принятым нормам. Хотя все двадцать лет, что я проработал за решеткой, в химической лаборатории врага, были заполнены лихорадочным трудом, какая-то часть моего существа словно оставалась свободной и искала чего-то другого. Во мне совершалась внутренняя работа, и я, даже не всегда сознавая ее смысл, чувствовал, что она для меня всего важнее, и ждал, когда и чем она разрешится... Наверное, это случится, когда я закончу книгу. О, отлично понимаю, как нелепо выглядит мое занятие на фоне всеобщего рационалистического мышления и прагматизма, но остановиться уже не могу.

Может быть, раньше я просто не решался взяться за перо; может быть, меня побудила к этому жизнь в заключении – не знаю. Условия, в которых я сейчас нахожусь, не слишком отличаются от тех, что были у меня на свободе. Пища чуть-чуть похуже, но к этому можно привыкнуть. Койка немного жестче той, на которой я спал дома – в Четвертом Городе, городе Химиков, но и к этому нетрудно приспособиться. Реже выхожу на свежий воздух, но и это в конце концов не беда. Хуже другое – разлука с женой и детьми, тем более что до сих пор я так ничего и не знаю о их судьбе. Первые годы меня непрерывно мучили беспокойство и страх, но время как-то все сгладило, и в общем я примирился со своим существованием. Сейчас мне нечего бояться. У меня нет ни подчиненных, ни начальников, разве только надзиратели. Но они редко мешают моей работе и следят лишь за тем, чтобы я выполнял правила внутреннего распорядка. Нет у меня ни покровителей, ни конкурентов. Чтобы я был в курсе новейших достижений химии, время от времени мне устраивают встречи с учеными; они беседуют со мной деловито и вежливо, иногда – из-за того, что я иностранец, – чуть-чуть снисходительно. Знаю, что ни у кого из них нет оснований завидовать мне. Короче говоря, в некоторых отношениях мне живется даже легче, чем на свободе. Но странное дело: чем больше я привыкал к новому образу жизни, тем больше давала о себе знать та внутренняя работа, о которой я уже говорил. Мне не будет покоя, пока я не разделаюсь с мыслями о прошлом и не запишу свои воспоминания. Поскольку я занимаюсь наукой, писать мне разрешено. Как правило, в процессе работы никто меня не контролирует, так что я могу спокойно растянуть это удовольствие – может быть, последнее в моей жизни.

Итак, я приступаю. Когда все это началось, мне было около сорока. Пожалуй, нужно сказать несколько слов о себе, поэтому прежде всего расскажу, какой представлялась мне тогда жизнь. Мне кажется, ничто так не характеризует человека, как его видение жизни, тот образ – будь то дорога, поле, растущее дерево или бурный океан, – с которым связывается в его сознании понятие жизни. Что до меня, то я и в зрелом возрасте походил на примерного школьника. Жизненный путь представлялся мне чем-то вроде лестницы: задыхаясь, я торопливо одолеваю ступеньку за ступенькой, а за мной по пятам следуют соперники. Впрочем, в действительности у меня было не так уж много соперников. Большинство моих коллег свои честолюбивые помыслы связывали с военной службой; работу они рассматривали как необходимое, но скучное приложение к вечерним военным занятиям. Я никогда не признался бы им, что химия для меня важнее военного дела, хотя и был вовсе не плохим солдатом. В общем, я продвигался вверх по лестнице, никогда особенно не задумываясь ни над тем, сколько ступеней пройдено, ни над тем, что ожидает меня на самом верху. Здание жизни представлялось мне в виде наших обычных городских домов, где из глубин земли можно подняться на крышу-террасу к свежему воздуху, ветру и дневному свету. Что именно на моем жизненном пути должно соответствовать

воздуху и свету, я и сам не знал. Но зато четко и определенно фиксировалась каждая пройденная ступенька. Я отсчитывал их в соответствии с официальными уведомлениями начальства о сдаче экзамена, об успешном проведении того или иного эксперимента, о переводе на более ответственную должность. Один этап сменялся другим, но я никогда не уставал с волнением ждать следующего. Именно поэтому в тот памятный день меня слегка лихорадило после краткого телефонного разговора, из которого я узнал, что завтра ко мне в лабораторию придет инспектор и что, следовательно, мне теперь разрешено экспериментировать с человеческим материалом. Значит, завтра подвергнется решающему испытанию мое самое значительное открытие.

До конца рабочего дня оставалось еще десять минут, но я был так взбудоражен, что ничего не мог делать. Пришлось схитрить – кажется, впервые в жизни. Медленно и осторожно я начал убирать приборы в шкафы, все время поглядывая сквозь стеклянные стены, не видит ли кто, чем я занимаюсь. И как только послышался звонок, возвещающий конец работы, я выскочил из лаборатории и одним из первых побежал по длинному коридору. Торопливо помывшись под душем, я сменил рабочий комбинезон на форменную одежду свободного времени, вскочил в лифт и через несколько секунд очутился на улице. Поскольку мы жили поблизости от места моей работы, у меня был постоянный пропуск для выхода на поверхность, и я никогда не упускал возможности пройтись по свежему воздуху.

Когда я проходил мимо станции подземки, мне пришло в голову, что стоит подождать Линду. От пищевого концерна, где она работала, ехать не меньше двадцати минут, и она, конечно, еще не успела добраться до дому. Поезд только что прошел, поток людей, хлынувший из-под земли, забурлил у прохода, где проверяли пропуска для выхода на поверхность, и медленно растекся по ближайшим улицам. Над пустыми сейчас крышами-террасами, над бесчисленными рулонами серого и зеленого брезента, с помощью которых можно было за десять минут замаскировать город, чтобы неприятель не смог увидеть его с воздуха, кишела толпа возвращавшихся домой людей в форменной одежде свободного времени. И внезапно мне пришло в голову, что все они, как и я, стремятся к одному – пробиться наверх.

Эта мысль захватила меня. Я знал, что раньше, в цивилизую эпоху, люди работали и тратили силы ради более просторных жилищ, лучшей пищи или роскошной одежды. Теперь это никому не требовалось. Стандартные квартиры – однокомнатные для холостяков, двухкомнатные для семьи – одинаково предоставлялись всем независимо от чинов и заслуг. И генерала, и рядового обеспечивала едой одна и та же домовая кухня. Форма одежды: одна для работы, другая для свободного времени, третья – для военной и полицейской службы – одинакова для всех, без различия пола и должности. Я мог бы поручиться, что для любого подданного Мировой Империи высшее достижение, которого можно добиться в жизни, рисовалось в форме всего лишь трех черных полосок на рукаве, свидетельствовавших о самом высоком воинском звании. Они гарантировали и самоуважение, и почтение других. Дело не в материальных благах. Мне кажется, что и двенадцатикомнатные виллы, которыми владели капиталисты давно прошедшей цивилизующей эпохи, имели для своих хозяев значение скорее символическое – как залог и воплощение всеобщего почитания, ибо это единственное, чем невозможно пресытиться. Каждый хочет добиться преклонения других – этого самого желанного, самого труднодостижимого и зыбкого из всех преимуществ, которые дает высокое положение. Но именно на этой непрочной основе строился во все века наш твердый общественный порядок. Так я размышлял, стоя у входа в подземку. Прошло четыре поезда, четыре раза толпа выливалась на свет, пока наконец не появилась Линда. Я поспешил ей навстречу, и мы зашагали рядом.

Разговаривать мы, конечно, не могли – все звуки заглушал шум самолетов, круглосуточно совершавших учения, но Линда заметила, что я чем-то обрадован, и кивнула приветливо, хотя, как всегда, несколько сдержанно. Только когда мы вошли в дом и спустились в лифте на свой этаж, наступила относительная тишина. Правда, здесь слышался шум метро, от

которого вздрагивали стены, но он был вполне терпим. Никто из нас не раскрыл рта, пока мы не зашли в квартиру. Если бы нам вздумалось начать разговор в лифте, любой оказавшийся рядом непременно заподозрил бы, что мы обсуждаем дела, о которых не следует знать детям и горничной. Бывали уже такие случаи, когда враги Империи и прочие преступники пытались использовать кабины лифтов для тайных встреч: дело в том, что по техническим причинам в лифты невозможно вмонтировать специальные приборы «ухо полиции» и «глаз полиции», а у вахтера и без того много дел, и он не может бегать и подслушивать на лестнице.

Итак, мы молча вошли в свою комнату. Наша горничная уже успела накрыть на стол и привести детей с домового детской площадки. Я и Линда дружески поздоровались с ней. Мы вообще были с ней в хороших отношениях, потому что она была аккуратной и симпатичной девушкой, а не потому только, что долг предписывал ей, как и всем горничным, еженедельно подавать рапорт о нашей семье.

В квартире царили уют и радость. Особенно приятно, что вместе со всеми сидел и наш старший сын Оссу. Сегодня был семейный вечер, так что и он смог прийти в гости из Барнлэгер¹.

– А у меня хорошие новости, – сказал я Линде, когда все принялись за картофельный суп. – Завтра начну экспериментировать с людьми. В присутствии инспектора, конечно.

– А ты знаешь, кто это будет? – спросила Линда.

Ее невинный вопрос заставил меня вздрогнуть. С одной стороны, казалось бы, совершенно естественно, что жена спрашивает мужа, кто будет у него инспектором, ведь от его придирчивости зависела продолжительность испытаний. Случалось также, что иной честолюбивый инспектор присваивал себе чужое открытие, и с этим, как правило, ничего нельзя было поделать. Так что желание близкого человека узнать, с кем мне придется работать, вполне закономерно. Но мне почудился в голосе Линды особый оттенок. Моим непосредственным начальником и первым кандидатом в инспектора был Эдо Риссен, а он раньше работал в том же пищевом концерне, что и Линда. Я знал, что по долгу службы им часто приходилось общаться друг с другом, и по некоторым признакам догадывался, что моя жена испытывает к нему симпатию. И вот теперь ее вопрос внезапно пробудил во мне ревность. Насколько они были близки? На большой фабрике легко найдется место, где двое могут укрыться от посторонних взглядов, на складе например. Кладовщик не всегда сидит на месте, а вдоль стеклянных стен громоздятся груды ящиков и тюков. Кроме того, Линде, как и всем остальным, приходилось иногда дежурить ночью. Ее очередь вполне могла совпасть с дежурством Риссена. Да, все возможно, в том числе и самое худшее – может быть, она и до сих пор еще любила его.

В то время я редко задумывался над собственными чувствами. Не заботило меня и то, что думают обо мне другие, ведь это не имело никакого практического значения. Лишь много позже, уже в заключении, я начал, возвращаясь мыслями к прошлому, анализировать свое состояние. Теперь-то я понимаю: когда у меня возникла догадка о близости между Линдой и Риссеном, я в глубине души хотел не опровержения ее, а подтверждения. Точнее говоря, мне нужна была какая-то причина, которая положила бы конец моему браку.

Но тогда я с негодованием отверг бы подобную мысль, Линда играла слишком большую роль в моей жизни. Она значила для меня не меньше, чем вся моя карьера. Против воли и вопреки здравому смыслу я был отчаянно привязан к ней.

Многие считают любовь устаревшей выдумкой романтиков, но я боюсь, что она все-таки существует и с самого начала в ней заключено нечто неопишимо мучительное. Мужчину тянет к женщине, женщину – к мужчине, но с каждым шагом, который приближает их друг к другу, оба как бы теряют какую-то часть своей души. Человек надеется на победу, а сам терпит поражение. Это чувство появилось у меня еще во время моего первого брака (мы разо-

¹ Городок для детей.

шлись, потому что у нас не было детей, не имело смысла дальше жить вместе). Но с Линдой это стало просто кошмаром, но тогда я еще не догадывался, что причина кошмара – именно она. У меня возникало иногда такое ощущение, словно я стою среди тьмы, освещенный лучами прожектора, его сверкающий глаз направлен прямо на меня, мне стыдно, и я, извиваясь как червяк, пытаюсь спрятаться. Лишь много позже я догадался, что виной всему Линда. С ней я чувствовал себя пугающе беззащитным, мне постоянно хотелось забиться куда-то в угол, спрятаться, а она оставалась неизменно загадочной, сильной, да, чуть ли не сверхчеловечески сильной, она бредила и тревожила меня, а эта ее загадочность – о, она давала ей ненавистное преимущество. Когда ее губы вытягивались в узкую красную черту, – нет, это нельзя было назвать улыбкой, радостной или насмешливой, скорее это напоминало натянутый лук, – а глаза становились неподвижными, меня пронизывала дрожь ужаса. И в то же время меня тянуло, неодолимо тянуло к ней, хоть я и сознавал, что никогда она не раскроет мне свой внутренний мир. Должно быть, это и есть любовь, когда в отчаянии безнадежности один человек крепко держится за другого и, несмотря ни на что, ждет чуда.

* * *

Другие пары вокруг нас расходились, как только дети подрастали настолько, чтобы их можно было отдать в Барнлэгер, а потом женились и выходили замуж опять, чтобы родить новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь лет, он уже целый год жил отдельно. Лайле, младшей, недавно исполнилось четыре, значит, пробыть дома ей предстояло еще три года. А что потом? Мы тоже разойдемся, и каждый создаст новую семью, наивно веря, что на этот раз чудо совершится? Весь мой опыт подсказывал, что это не более чем иллюзия. Но где-то оставалась надежда, и она шептала: нет, тебе не повезло с Линдой только потому, что она любит Риссена. Она принадлежит Риссену, а не тебе. Пойми же это наконец, и все станет на свои места, и ты еще сможешь надеяться на новую любовь! Да, вот какие мысли пробудил во мне невинный вопрос Линды.

– Очевидно, Риссен, – сказал я, насторожившись и ожидая, что последует дальше.

– А мне позволено узнать, что это за эксперимент? – спросила горничная.

Разумеется, она имела полное право спрашивать, поскольку находилась здесь в какой-то степени и для того, чтобы следить за всем, что происходит в доме. Но, с другой стороны, не будет ли вреда и мне самому, и в первую очередь Империи, если слухи о моих опытах распространятся преждевременно?

– Речь идет об открытии, которое, как я надеюсь, будет полезно Империи, – сказал я. – Синтезировано новое вещество, и с его помощью можно заставить любого человека рассказать обо всех своих тайнах, о том, что он раньше скрывал из страха или стыда. Вы сами из нашего города?

Дело в том, что, когда в городе не хватало людей, пополнение привозили из других провинций. У приезжих, разумеется, не было того образования, которое получали все живущие в Городах Химиков, и они довольствовались обрывками знаний, подхваченных уже в зрелом возрасте.

– Нет, – сказала она, покраснев, – я из другого места.

(Выяснять, откуда кто прибыл, было строгойше запрещено, потому что такие сведения могли использоваться в целях шпионажа, оттого-то она и покраснела.)

– Тогда я не стану рассказывать о химическом составе вещества и механизме его действия, – сказал я. – Впрочем, я думаю, в любом случае мне не стоит особенно распространяться, ведь это фактически означало бы разглашение открытия, а на это я не имею права. Но, может быть, вы слышали об алкоголе и о том, что в старину он употреблялся как опьяняющее средство?

– Да, – ответила она, – и знаю, что из этого выходило. Люди становились несчастными, портили здоровье, а в самых тяжелых случаях у них начиналась дрожь во всем теле, им мерещились белые мыши и всякое такое.

Я невольно улыбнулся. Она повторяла слова из элементарного школьного учебника. Конечно, она не получила среднего образования, которое давалось в Городах Химиков.

Я продолжил:

– Совершенно правильно, в запущенных случаях так и было. Но даже при сравнительно слабом опьянении люди нередко выбалтывали то, что не следовало, совершали неразумные поступки, потому что сдерживающие чувства стыда и страха у них на время атрофировались. Вот и мое средство действует примерно так же, как алкоголь, то есть я полагаю, что действует, завершающих опытов еще не проводилось. Но есть и разница: химический состав совсем другой, его не глотают, а вводят прямо в кровь. Когда действие препарата кончается, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, ну, может быть, только небольшую головную боль. И он помнит все, что с ним происходило, не то что пьяные, которые обычно все забывали.

Теперь вы видите, какое это важное открытие. Ни один преступник не сможет скрыть свою вину. Мысли, чувства больше не будут принадлежать нам одним, наконец-то будет покончено с этой нелепостью!

– С этой нелепостью? – переспросила она.

– Ну да, разумеется, так как из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Так как же они могут быть личным делом каждого? Разве каждый человек не принадлежит Всемирной Империи целиком и полностью? Кому же, как не Империи, должны принадлежать его мысли и чувства? До сих пор их невозможно было контролировать, но сейчас-то средство найдено.

Она быстро взглянула на меня и отвела глаза. И хоть выражение ее лица не изменилось, щеки явно побледнели. Я решил подбодрить ее:

– Не бойся, мы не собираемся выяснять, кто в кого влюблен или кто кого терпеть не может. Конечно, если бы мое открытие попало в чужие руки, тогда мог бы начаться страшный хаос. Но этого не случится! Мое изобретение послужит нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности Всемирной Империи!

– А я и не боюсь, мне бояться нечего, – отозвалась она холодно, уже успев взять себя в руки и не реагируя на мой доброжелательный тон.

Разговор перешел на другие темы. Дети рассказывали, во что они играли на детской площадке. Там у них имелось специальное приспособление – нечто вроде огромного эмалированного ящика площадью четыре квадратных метра и глубиной метр. Там спокойно можно взрывать игрушечные деревья и дома, сделанные из особого, легко воспламеняющегося материала. Не менее увлекательно разыгрывать в миниатюре целые морские сражения, наполнив ящик водой, пушки детских кораблей заряжались тем же взрывчатым веществом, которым начинялись игрушечные бомбы. Среди игрушек имелись даже маленькие торпедные катера. Таким путем у детей развивались стратегические наклонности, и это входило в их плоть и кровь, можно сказать, становилось их второй натурой. Кроме того, подобные игры еще и отличное развлечение. Порой я даже завидовал собственным детям. В мое-то время не существовало таких великолепных игрушек, специальную взрывчатку для детских бомб, например, изобрели совсем недавно, и я не понимал, почему дети ждут не дождутся дня, когда им исполнится семь лет и они перейдут в Барнлэгер, где упражнения походят уже не на игру, а на настоящую военную службу и где придется жить постоянно.

Мне часто приходило в голову, что нынешнее поколение гораздо трезвее смотрит на жизнь, чем я в их возрасте, и в этот день снова получил подтверждение своим мыслям. Поскольку сегодня был семейный вечер, ни я, ни Линда не пошли на военную службу, и Оссу, наш старший, тоже был дома, я решил немного развлечь детей. У меня с собой был крошечный кусочек натрия, который я специально для такого случая захватил из лаборатории. Я представлял себе, как обрадуются дети, когда увидят плавающий по воде лиловый огонек, – я помнил, как мой отец показывал мне этот фокус. Я налил полный таз воды, потушил свет, и все собрались вокруг моего маленького химического чуда. Но никто не выказал восторга. Ну ладно Оссу – он умел стрелять из детского пистолета и бросать хлопушки, имитировавшие ручные гранаты, я еще мог понять, что бледный маленький огонек не произвел на него никакого впечатления. Но то, что осталась равнодушной четырехлетняя Лайла, меня удивило. Видимо, вспышка огня, не принеся гибели хотя бы нескольким врагам, не могла вызвать у нее интереса. И только Марил, наша средняя, сидела словно зачарованная с широко раскрытыми глазами, так напоминавшими глаза матери, смотрела на шипящий, кружащийся по воде огонек. Это одновременно и утешало, и беспокоило меня. Было совершенно ясно, что именно такие дети, как Оссу и Лайла, нужны нашей эпохе. Уже сейчас в них угадывались будущая деловитость и трезвость. А я... во мне все еще жила устаревшая романтика. И хоть в характере и поведении Марил я как бы находил оправдание себе, мне внезапно захотелось, чтобы она была больше

похожа на других. У каждого поколения свои черты, обусловленные особенностями времени, и я не желал, чтобы моя дочь оказалась исключением.

Вечер подходил к концу, и Оссу пора было возвращаться в городок. Может, ему хотелось остаться, может, он боялся ехать один, но он ничем этого не выдал. В свои восемь лет мой сын уже был дисциплинированным солдатом. Но зато я сам с внезапной тоской вспомнил то время, когда они все трое каждый вечер забирались в свои кровати. «Сын – это сын, – думалось мне, – он отцу всегда ближе, чем дочери». Я боялся даже представить себе тот день, когда Марил и Лайла уйдут от нас и мы будем встречаться с ними лишь два раза в неделю. Но я ничем себя не выдал. К чему показывать дурной пример детям и давать горничной основания отметить в рапорте слабость и мягкотелость главы семейства?

И Линда, главное – Линда! Пусть меня презирает кто угодно, но только не она, сама никогда в жизни не проявившая слабости.

Между тем постели для девочек были уже приготовлены. Горничная составила посуду и остатки еды в кухонный подъемник и тут только вспомнила:

– Да, мой шеф, вам сегодня пришло письмо. Вот оно.

После этого она ушла. Мы с Линдой с удивлением рассматривали конверт – письмо было служебным. Мне пришло в голову, что, будь я на месте полицейского начальства горничной, я сделал бы ей внушение, что по забывчивости или по какой-то другой причине она не вскрыла конверт, хотя имела на это полное право. Но тут же спохватился – а вдруг там написано такое, что мне следовало поблагодарить ее за эту небрежность. Письмо было из Седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Но тут, чтобы все объяснить, я должен вернуться к событиям двухмесячной давности.

Итак, это произошло два месяца назад. В зале Унгдомслэгер, украшенном флагами и полотнищами, собрались юноши и девушки. Они разыгрывали разные сценки, произносили речи, маршировали под барабанный бой. Поводом для праздника послужил перевод группы девушек из лагеря в другое место, куда именно, никто не знал. Кто называл Второй Город Химиков, кто – Город Обувщиков, но было ясно, что их мобилизуют туда, где сложилась неблагоприятная ситуация – как в смысле рабочей силы, так и соотношения полов. Раз и навсегда установленные пропорции не должны нарушаться. Потому-то группу молодых женщин и призывали сейчас в другой район, и сегодня в их честь проводили прощальный вечер.

Такие празднества чем-то напоминают проводы солдат. Правда, есть и разница, притом весьма значительная: мы все – и те, кто уезжал, и те, кто оставался, – знали, что девушкам, покидающим родной город, ничего не грозит, напротив, будет сделано все, чтобы они как можно скорее привыкли к новому окружению. Но отъезжающие понимали, что расстанутся с близкими навсегда. Между городами во избежание шпионажа разрешена только официальная связь, и осуществлялась она особо проверенными служащими, находившимися под постоянным контролем. И даже если кому-нибудь из девушек удалось бы попасть в Службу движения – случай почти невероятный, так как будущих работников этой службы чуть ли не с младенчества готовили в специальных городах Транспортников, – даже в этом случае еще нужно было, чтобы ее поставили на один из маршрутов, проходивших через родной город, и чтобы время, когда она там окажется, пришлось как раз на ее свободные часы. Кстати, это касалось только работников наземного транспорта, а персонал, обслуживающий воздушные линии, жил отдельно от семей под постоянным наблюдением властей. Короче говоря, требовалось совершенно исключительное, поистине чудесное стечение обстоятельств, чтобы родители смогли когда-нибудь увидеться со своими детьми, отправляемыми в другую местность. Но тем не менее в этот вечер никто не имел права с мрачным видом стоять у стены. На празднике, как и подобает, должно царить радостное настроение.



Наверняка все сложилось бы иначе, если бы я тоже был непосредственным участником торжества. В зале было весело и шумно. Предвкушение хорошего ужина – на таких празднествах угощение, как правило, бывает вкусным и обильным, и собравшиеся набрасываются на еду как голодные волки, – звуки барабана, общий шум и веселая толкотня создавали то приподнятое настроение, которому и надлежит господствовать на подобных вечерах.

Но я оказался здесь не потому, что имел какое-то отношение к виновникам торжества, а по долгу службы (я имею в виду военно-полицейскую службу, которая занимала у меня четыре вечера в неделю) и исполнял роль полицейского секретаря. Сидя на небольшом помосте в углу зала, я вел протокол, записывая ход торжества. Этим занимался не я один, нас в зале было четверо – по одному в каждом углу.

Итак, я сидел отдельно ото всех и разглядывал толпу. Общий подъем в какой-то степени захватил и меня, я не мог веселиться вместе с другими, но меня утешало сознание важности моей миссии. Впрочем, к концу вечера нас сменят, чтобы мы могли отдохнуть и отдать должное праздничному столу.

Девушек – виновниц торжества было около пятидесяти. Они сразу бросались в глаза благодаря позолоченным венкам на головах (такие венки по обычаю предоставлял город). Мое внимание привлекла одна из девушек: очень красивая, а главное – в ее взгляде, движениях, во всем поведении, как скрытый огонь, чувствовалась необыкновенная живость. Еще в начале вечера, когда на сцене разыгрывались скетчи и юноши сидели отдельно от девушек, я заметил, что она пытливо поглядывает в их сторону. Но вот она нашла того, кто был ей нужен, и сжигающий ее внутренний огонь словно бы утих, превратившись в ровное, спокойное пламя. Я начал разглядывать юношей и сразу понял, кого она искала. Среди веселых, полных радостного ожидания людей только его лицо поражало своей чуть ли не болезненной серьезностью. Как только окончилась последняя пьеса и все вскочили с мест, эти двое двинулись сквозь густую толпу навстречу друг другу и остановились в центре зала. Молодежь разговаривала и пела, они одни стояли молча, никого не замечая, забыв о том, где находятся. Я стряхнул с себя оцепенение. Ну куда это годится! Я едва не стал сочувствовать им!

Наверное, я слишком устал в тот день, иначе так не забылся бы. Разумеется, жалеть этих двоих не стоило. Что может быть полезнее для формирования верноподданного, чем выработанная смолоду привычка приносить жертвы ради великой цели? Многие всю жизнь жаждут принести жертву, которая была бы достаточно велика, и не могут. Единственное, что я мог испытывать в тот момент, – зависть, и я уверен, что недовольство, которое явно проявляли все окружающие, было вызвано той же завистью. Завистью и еще, быть может, презрением, ибо молодежь, конечно, считала, что отдельный человек, кем бы он ни был, не стоит такой затраты душевных сил. Но я презрения не испытывал, потому что юноша и девушка казались мне участниками вечной драмы, прекрасной в своей трагической обреченности.

Да, я действительно устал, потому что меня притягивали не веселые, а грустные лица. После того как толпа разделила молодую пару, я обратил внимание на худощавую немолодую женщину, видимо, мать одной из мобилизованных. Она находилась как бы вне происходящего. Не знаю, почему это пришло мне в голову, я ничем не смог бы это доказать, потому что она делала все то же, что другие: двигалась в такт с марширующими, кивала ораторам, пела. Но, по-моему, она совершала это чисто механически и оставалась одинокой – точно так же, как те двое. По-моему, ее поведение не осталось незамеченным. Со своего помоста я видел, как к ней то и дело подходил кто-нибудь, брал за руку и тянул за собой или просто заговаривал. И, хоть она отвечала и даже улыбалась, я видел, что люди отходили разочарованные. Только один невысокий полный мужчина с живым лицом не отступился так легко. После того как в ответ

на какую-то его реплику она выдавила мученическую улыбку и снова приняла озабоченный вид, он отошел, но недалеко, и я понял, что он наблюдает за ней.

Эта одинокая усталая женщина вдруг стала мне чем-то близка. Умом я понимал, что она более достойна зависти, чем те двое молодых людей, ведь она приносила большую жертву и заслуживала еще большей похвалы. Чувства молодых поблекнут, у каждого появится новая привязанность. Рана затянется, и память о прежней любви скрасит однообразие будней, но боль матери не утихнет с годами. Я понимал, какова тяжесть ее потери, и мне когда-нибудь придется пережить то же самое. Думая об Оссу, старшем сыне, который пока еще приходил домой два раза в неделю, я надеялся, что сумею удержать его в Четвертом Городе Химиков, даже когда он станет взрослым. Разумеется, я сознавал, что нельзя распоряжаться судьбой маленьких подданных Империи, исходя лишь из интересов родителей, и никогда не высказал бы своего желания вслух, но тайная надежда сохранить Оссу была подобна мерцающему вдалеке огоньку для ночного путника. Может быть, я особенно берег эту мечту еще и потому, что ее приходилось так тщательно скрывать. И вот в этой женщине я угадал ту же боль и ту же молчаливую сдержанность. Я невольно поставил себя на ее место: она не только больше никогда не увидит свою дочь, но вряд ли сумеет на протяжении всей жизни получить от нее хоть какое-нибудь известие. Почтовая цензура все строже обходилась с частными письмами, и, как правило, адресату доставлялись только действительно важные, короткие и деловые сообщения, снабженные надлежащими подтверждениями. Странная и дерзкая мысль пришла мне в голову: я подумал, что люди, пожертвовавшие своими чувствами ради Империи, нуждаются в своего рода компенсации. Она должна состоять в том, к чему стремятся даже самые богатые и высокопоставленные лица: в славе и почитании. Если слава служит достаточным утешением для искалеченного на поле боя воина, почему бы ей не быть таким же утешением и для человека, потерпевшего моральный ущерб? Весьма путаная романтическая мысль – и, как и следовало ожидать, немного погодя она привела меня к опрометчивому поступку.

После того как меня сменил другой полицейский секретарь, я смешался с толпой и попытался принять участие в общем веселье. Но, вероятно, из-за усталости и голода ничего у меня не выходило. Вскоре из кухни вкатили передвижные столы, накрытые для ужина, и все со складными стульями собрались вокруг них. И что удивительно, женщина, на которую я раньше обратил внимание, оказалась как раз напротив меня. Возможно, это чистая случайность, а возможно, она тоже заметила меня и даже сумела прочитать на моем лице симпатию. Но то, что невысокий подвижный толстяк, подходивший к ней до ужина, сейчас поспешил усесться рядом, это уж явно преднамеренно. Судя по всему, он хотел заставить ее выдать нечто, тщательно скрываемое. Его слова звучали вроде бы вполне невинно, но я представлял, как они берегут рану матери! Он с сожалением говорил об одиночестве, которое ожидает девушек. Всех вновь прибывших, по его словам, расселят в разных местах, далеко друг от друга. Само собой, трудно привыкать к новому климату, да и к новому образу жизни тоже. Что касается Городов Обувщиков (не знаю, почему речь зашла именно о них, ведь цель поездки всегда держалась в глубокой тайне, и любая догадка на этот счет с равной степенью вероятности могла оказаться и правдивой, и ложной). Что касается Городов Обувщиков, то часть из них лежит на той же широте, что и Четвертый Город Химиков, но большинство расположено далеко на севере, где суровый климат, холодные зимы и долгие полярные ночи, которые на кого угодно наведут тоску. А впрочем, не стоит так уж безоговорочно верить слухам – те, кто их распространяет, сами скорее всего ни разу не выезжали за пределы города.

Сначала у меня создалось впечатление, что он попросту за что-то мстит женщине. Но из ее вежливых малозначащих ответов я понял, что они только что познакомились, и, следовательно, у него не могло быть никаких причин для личной неприязни. Значит, он просто хотел разоблачить носительницу индивидуалистических настроений, хотел, чтобы резким словом или внезапным взрывом слез она наконец-то выдала себя. Тогда, указав на нее и воскликнув:

«Смотрите, кого мы вынуждены терпеть в своих рядах!» – он пригвоздил бы ее к позорному столбу. Такое стремление, в сущности, не только вполне объяснимо, но и достойно всяческого уважения, и потому их разговор приобретал иной, принципиально новый смысл. Я слушал внимательно, и, надо сказать, симпатии окружающих явно склонялись на сторону женщины. Мне кажется, дело тут было не в сострадании. Всех привлекало то достоинство, то самообладание, с которым она парировала самые хитрые выпады собеседника. Ни на секунду ее лицо не покинула вежливая улыбка, ни разу в голосе не прорвалась дрожь. И как быстро она находила ответ на любой из его доводов! Она говорила, что молодежь легко воспринимает все новое, климат севера полезнее для здоровья, чем южный, что в Мировой Империи никто не может чувствовать себя одиноким и нечего жалеть о том, что ее дочь забудет родных, – если человеку приходится переезжать на новое место, это как раз очень хорошо.

Я был очень недоволен, когда в их спор вмешался сидевший неподалеку рыжеволосый мужчина с грубым лицом:

– Это что еще за слюняй выискался! Эй вы, как вас там, кто вам позволил порочить имперские мероприятия, да еще перед матерью! Кончайте нытье, не мешайте другим веселиться!

Как раз в этот момент подошло время для очередной речи, и у меня возникла идея – злосчастная идея! – нанести удар противнику моей соседки. (Дело в том, что на вечер я пришел не только в качестве полицейского секретаря, но и в качестве официального оратора.) Речь моя была заранее подготовлена, но концовку я придумал на месте. Увы, если бы я только мог догадываться о роковых последствиях этого шага!

– Итак, соратники, героизм не становится меньше оттого, что он сопровождается страданиями. Страдает воин от ран, страдает вдова убитого воина, хотя радость служения Империи неизмеримо превышает боль скорби. Душевную тяжесть испытывают и те, кто, вступая в самостоятельную жизнь, расстается с близкими, в большинстве случаев навсегда. Мы можем только восхищаться, когда мать с дочерью или товарищ с товарищем прощаются легко и радостно, с блеском в глазах и криками ликования на устах. И наше восхищение не уменьшится оттого, что за этой радостью мы почувствуем глубоко спрятанную, мужественно преодолеваемую скорбь. И, может быть, именно эта выдержка, это самообладание и борьба с самим собой особенно достойны нашего преклонения, ибо тут-то и таится самая большая жертва, которую мы приносим Империи.

Наэлектризованная, возбужденная толпа встретила мои слова громом аплодисментов и приветственных возгласов. Но я видел, что среди аплодирующих то там, то здесь попадались сидевшие неподвижно. Пусть тысяча хлопает, а двое – нет: эти двое важнее, потому что они могут донести, в то время как ни один из тысячи и пальцем не шевельнет, чтобы защитить того, кем только что восторгался, а впрочем, ведь это невозможно. Я был взволнован, но постоянно чувствовал на себе пронзительный взгляд толстяка. Как бы невзначай я повернулся в его сторону – разумеется, он не аплодировал.

Да, так все и было. И вот результат – я держу в руке письмо. Кто донес на меня, сомневаться не приходилось. Я прочитал текст на бланке:

«Соратнику Лео Каллю,
Четвертый Город Химиков.

Ознакомившись с вашей речью, произнесенной 19 апреля с. г. в Унгомслэгере на вечере в честь вновь мобилизованных на работу, Седьмая канцелярия Департамента пропаганды считает нужным сообщить вам следующее.

Ввиду того, что борец, обладающий цельной натурой, действует эффективнее, чем страдающий раздвоенностью, необходимо отметить, что

бодрый духом солдат, ни перед самим собой, ни перед окружающими не выдающий сознания приносимой жертвы, представляет значительно большую ценность, нежели угнетенный и обремененный тяжестью так называемой жертвы, даже если он и скрывает свое состояние духа. Следовательно, уважения достойны лишь истинно бодрые солдаты, которым нечего скрывать; не имеется никаких оснований поощрять тех, кто под маской радости пытается скрыть раздвоенность, недовольство и излишнюю чувствительность; разоблачение последних есть долг каждого преданного Империи солдата. Мы ждем, что в скором времени вы выступите с признанием своей ошибки перед той же аудиторией – на собрании или по местному радио. *Седьмая канцелярия Департамента пропаганды*».

Я отреагировал так бурно, что мне самому потом было стыдно перед Линдой. Но ведь надо же, письмо пришло именно сегодня, в день моего торжества! Моим надеждам и ожиданиям нанесен внезапный и резкий удар! Чего только я не наговорил в тот момент: и что я конченный человек и карьера моя погибла, и что в будущем меня ждет одно бесчестие, и что мое открытие – ничто по сравнению с этой историей, которая, конечно, будет отмечена в тайных картотеках всех полицейских отделений Мировой Империи, и так далее. И когда Линда принялась утешать меня, я сначала не поверил ей. Решил, что она притворяется, а сама тем временем думает, как бы лучше избавиться от меня.

– Скоро все узнают, что я имею обыкновение произносить антиимперские речи, – сказал я с горечью. – Если хочешь разойтись, пожалуйста; неважно, что дети еще маленькие. Лучше уж совсем никакого отца, чем государственный преступник...

– Ты преувеличиваешь, – ответила Линда. (Как ни странно, я до сих пор помню, какое слово она тогда употребила. И не материнское ласковое спокойствие звучало в ее голосе – ему бы я не поверил, – а тяжелая, равнодушная усталость – именно это и убедило меня в ее искренности.) – Да, ты преувеличиваешь. Ты думаешь, среди наших соратников мало выдающихся людей получали замечания или взыскания, а потом сами же восстанавливали свое доброе имя? А ну-ка вспомни, сколько людей выступает по радио каждую пятницу с восемью до девяти вечера с покаяниями. Пойми, что хороший соратник не тот, кто не ошибается, а тот, кто, допустив ошибку, способен отказаться от собственной ложной точки зрения во имя истинной.

Мало-помалу я несколько пришел в себя и понял, что она права. Впрочем, я был все еще порядком возбужден и решительно обещал Линде (да и самому себе), что как можно скорее постараюсь выступить по радио в программе «Час покаяния». Я даже начал набрасывать текст будущей речи.

– И опять ты преувеличиваешь, спешишь, – сказала Линда. Она стояла рядом и смотрела, что я пишу. – Нельзя бросаться из одной крайности в другую – заподозрять, что в минуту слабости ты можешь вернуться к прежним заблуждениям. Поверь мне, Лео, такие вещи нужно писать в спокойном состоянии.

Линда права! Я почувствовал благодарность к ней за то, что она рядом, такая мудрая и такая сильная. Но почему она выглядит бесконечно усталой?

– Ты не заболела, Линда? – спросил я со страхом.

– С чего мне болеть? На прошлой неделе у нас прошел врачебный осмотр. Мне прописали небольшие дозы свежего воздуха, а так все в порядке.

Я встал и обнял ее:

– Только не умирай раньше меня. Ты нужна мне. Ты должна быть со мной.

Но вместе с боязнью очутиться в одиночестве где-то в моей душе мелькнул проблеск надежды: а вдруг она и правда умерла бы? Это решило бы все проблемы. Но в таких мыслях я не хотел себе признаваться и в каком-то бессильном гневе крепко прижал ее к себе.

Мы легли и потушили свет. Моя месячная порция снотворного уже давно кончилась.

Даже если бы я не чувствовал ее нежного тепла и аромата, напоминающего о листьях чая, в тот вечер пожелал бы ее, захотел бы большей близости, чем та, что могут дать краткие прикосновения. Годы преобразили меня. В юности чувства играли в моей жизни совсем не такую роль, как теперь: тогда я ощущал их не как неотъемлемую часть собственной натуры, а как некое приложение, что-то вроде надоедливого спутника, которого надо поскорее убагатворить, чтобы он оставил тебя в покое и не мешал заниматься более важными делами. Иное дело сейчас. Мне мало ощущать ее аромат и нежность тела, я жаждал того, чего добиться было почти невозможно: той Линды, что вдруг проглядывала сквозь обычную маску, чей облик прятался в глубине широко открытых неподвижных глаз, в изгибах напряженно сжатого рта, прорывался в звуках усталого голоса, в спокойных мудрых словах. Я почувствовал, как кровь стучит в висках, и, повернувшись на бок, подавил глубокий вздох. И снова повторил себе, что никогда близость между мужчиной и женщиной не принесет того, что мне нужно. Все это предрассудки – вроде тех, что были свойственны первобытному дикарю, который считал, что, съев сердце мужественного соперника, он сам станет мужественным. Никакой магический ритуал не даст мне доступа к тому блаженству, в котором отказывала мне Линда. А зачем тогда все остальное!

На стене висело «ухо полиции», рядом – «глаз полиции», в темноте он действовал так же безотказно, как при свете. Никто не посмел бы сказать, что эти аппараты не нужны: если не они, сколько тайных встреч могло произойти, сколько шпионских сведений передавалось бы, так как спальни взрослых одновременно служили гостиницами. Немного погодя, когда я ближе познакомился с семейной жизнью многих наших соратников, я вынужден был признать, что «ухо полиции» и «глаз полиции» неблагоприятно влияют на рождаемость в Мировой Империи. Но едва ли сейчас я охладел из-за них. По крайней мере, раньше они мне не мешали. Наша Тысячелетняя Империя никогда не смотрела на вопросы пола аскетически, напротив, производить на свет новых подданных считалось делом не только необходимым, но и почетным, и Империя делала все, чтобы мужчины и женщины, вступив в зрелый возраст, могли выполнить свой долг. Я никогда не имел ничего против того, чтобы в высших сферах время от времени отмечали мои мужские достоинства. Это меня даже стимулировало. Но с годами все изменилось. Если раньше даже в моменты интимной близости я зачастую обращался к аппарату на стене с безмолвным вопросом, как относится ко мне воплощенная в нем Высшая Власть, то с течением времени мысль об этой власти стала казаться помехой, и больше всего в те минуты, когда я особенно жаждал Линды и того недостижимого чуда, которое сделало бы меня господином над ее внутренним миром. Теперь я мысленно спрашивал не аппарат, а саму Линду. Моя любовь приобретала недопустимый, чересчур углубленный и личный характер, и это начало беспокоить меня. Цель брака – дети, а все прочее – предрассудки. Да, пожалуй, эти опасные странности – еще один аргумент в пользу развода. Интересно, многие ли пары расходятся по той же причине?..

С тем я и попытался заснуть, но не смог. В моей памяти вновь всплыло письмо из Седьмой канцелярии Департамента пропаганды, слова завертелись и запрыгали перед глазами. Сон окончательно пропал, и я буквально не находил себе места. «Борец, обладающий цельной натурой, действует эффективнее, чем страдающий раздвоенностью», – это, разумеется, логично и правильно. Но как быть с теми, кто все-таки страдает раздвоенностью? Как заставить их перемениться, стать цельными?

Но тут я спохватился: а почему я так беспокоюсь об этих людях, словно один из них? Нет, так нельзя. Ни за что не допущу собственной раздвоенности! Как солдат я безупречен, в моей душе нет и не будет места ни обману, ни предательству. А бесполезные... прочь их совсем, всех, и ту женщину тоже... «Долой тех, в ком нет цельности!» – вот мой лозунг отныне. «А твой собственный брак?» – спросил чей-то злорадный голос. Но я тут же нашел ответ. Если все останется по-прежнему, я разведусь. Да, разведусь, и все тут. Но, конечно, не раньше, чем подрастут дети.

И на душе у меня вдруг стало легко и ясно, поскольку мое открытие отвечало требованиям Седьмой канцелярии! И разве сегодня я не говорил с горничной в том же духе? Благодаря моему открытию мне поверят, меня простят, так как я на деле доказал свою благонадежность. В конце концов, что значат несколько необдуманных слов? Я всегда был хорошим солдатом, а в дальнейшем, возможно, стану еще лучше.

Перед тем как сон окончательно сморил меня, мне почему-то представилась смешная картина, одна из тех, что часто всплывают в сознании засыпающего человека: невысокий подвижный толстяк, которого я видел на празднике, стоит и обливается холодным потом, сжимая в руке письмо-предупреждение. Тот рыжий детина обвинил его в попытке сорвать праздник и опорочить мероприятия Империи, а это куда хуже...



У меня нет привычки мешкать по утрам, но в то утро я особенно торопился покончить с гимнастикой и душем и натянуть рабочий комбинезон, чтобы в полной готовности встретить инспектора.

И вот он пришел. Конечно, это был Риссен. Если я и испытал в тот момент разочарование, на моем лице оно не отразилось. Не стоило и надеяться, что мне дадут кого-то другого. И когда он появился передо мной, сутулый, как всегда, с обычным нерешительным видом, я вдруг ясно и отчетливо понял, что он так неприятен мне вовсе не потому, что между ним и Линдой, возможно, существуют какие-то отношения, нет, сама мысль об этом бесила меня именно из-за того, что в роли моего соперника оказался Риссен. Пусть кто угодно, только не он! Конечно, он не станет чинить мне препятствий, он для этого слишком кроток. Но я, честно говоря, предпочел бы более решительного, пусть даже недружелюбно настроенного инспектора, с которым мог на равных помериться силами, конечно, при том условии, что он будет пользоваться моим полным уважением. Но к Риссену я не питал никакого почтения. Он слишком не похож на других, слишком смешон. Мне трудно определить, в чем именно состояло это смешное. Пожалуй, прежде всего в его манере говорить, в самом темпе речи. Свойственные любому из взрослых соратников четкость и определенность выражений, умение связно и размеренно излагать свои мысли чужды Риссену. В разговоре он порой так спешил, что слова буквально наскакивали друг на друга, а он еще к тому же сопровождал их бессмысленными комическими жестами, делал совсем ненужные по ходу беседы длинные паузы, внезапно погружался в собственные мысли или бросал странные реплики, понятные только посвященным. А когда он слушал что-нибудь особенно интересное, его лицо подергивалось, как будто это не человек, а животное, которое не может владеть своими эмоциями. И все это в моем присутствии, присутствии подчиненного. Я, конечно, с одной стороны, сознавал, сколь велики его научные заслуги, но, с другой – хоть дело касалось моего шефа, не мог закрывать глаза на явное несоответствие между его достоинствами как ученого и его обликом подданного Империи.

– Итак, – сказал Риссен неторопливо, словно наше рабочее время принадлежало лично ему, – я получил весьма подробный отчет. Думаю, что мне все ясно.

И он начал повторять важнейшие положения моего отчета.

– Мой шеф, – нетерпеливо вмешался я, – уже заказано пять человек из Службы жертв-добровольцев. Они ждут в вестибюле.

Он хмуро посмотрел в мою сторону. Такое впечатление, что он меня вообще не видит. Да, действительно странный человек.

– Ну что ж, позовите кого-нибудь, – сказал он секунду спустя.

Это звучало так, словно он не отдал приказ, а просто подумал вслух.

Я нажал на кнопку звонка. Дверь тут же отворилась, и на пороге появился мужчина с рукой на перевязи. Он поздоровался и назвал себя: № 135 из Службы жертв-добровольцев. Несколько раздраженный, я спросил, нельзя ли было прислать вполне здорового человека. Дело в том, что, когда я работал ассистентом в одной из медицинских лабораторий, к моему руководителю в качестве испытуемой однажды попала женщина, у которой в результате предыдущего эксперимента совершенно расстроились функции всех желез, и это сильно исказило картину исследования. Я, естественно, не хотел, чтобы и у меня произошло нечто подобное. К тому же в инструкциях указывалось, что каждый ученый не только имеет право, но и обязан настаивать на том, чтобы ему предоставляли только здоровых испытуемых. Привычка посылать в разные лаборатории одних и тех же лиц порождала систему фаворитов, в то время как многие способные и деятельные люди лишались возможности, во-первых, проявить себя, а во-вторых, получить небольшой гонорар. Правда, принадлежность к Службе жертв-добровольцев

считалась чрезвычайно почетной, и это уже само по себе могло рассматриваться как своего рода вознаграждение. Однако твердая заработная плата была у них весьма низкой, так как при расчетах принимались во внимание многочисленные виды компенсаций за разные телесные повреждения, неизбежные у людей этой профессии.

№ 135 вытянулся по стойке «смирно» и от имени своего отдела принес извинения. Им действительно больше некого послать. В военной лаборатории по исследованию газов ведутся большие работы, и весь состав отдела брошен туда. По словам № 135, он чувствует себя великолепно, если не считать полученной в газовой лаборатории травмы левой руки. Но так как по всем правилам ране полагалось давно зажить (даже нанесший ее химик не мог сказать, почему она до сих пор не затянулась), испытуемый считал, что он вполне здоров и пригоден для моего эксперимента. По существу, он был прав, и я успокоился.

– Нам нужны не ваши руки, а ваша нервная система, – объяснил я. – Заранее могу обещать, что вам не будет больно и не останется никаких последствий, даже временных.

№ 135 вытянулся еще больше. Его голос прозвучал торжественно, как гром фанфар:

– Сожалею, что Империя не требует от меня большей жертвы. Я готов ко всему.

– Мы в этом не сомневаемся, – серьезно ответил я.

Он, безусловно, говорил искренне. Мне только не понравился его чересчур уж торжественный тон. Не он один способен к подвигам, ученый в лаборатории подчас проявляет не меньшее мужество, хотя об этом порой никто не знает. Впрочем, как раз возможность проявить себя представится, видимо, весьма скоро: то, что испытуемый сказал о лихорадочной работе в газовой лаборатории, подтверждало мои догадки о приближении войны. Я, кстати, давно уже заметил (только не хотел говорить другим, чтобы меня не сочли нытиком и пессимистом), что пища, которой нас кормят, день ото дня становится хуже.

Я усадил испытуемого в удобное кресло, специально выделенное мне для эксперимента, согнул ему руку, протер кожу дезинфицирующим раствором и взял небольшой шприц, наполненный светло-зеленой жидкостью. Как только № 135 ощутил прикосновение иглы, его лицо сразу изменилось – в своей напряженной суровости оно стало почти прекрасным. И я подумал, что передо мной сидит подлинный герой. Но буквально через секунду он резко побледнел, что никак нельзя приписать действию моего препарата – оно не могло проявиться так скоро.

– Ну как? – спросил я дружелюбно. Инструкции предписывали задавать испытуемым как можно больше вопросов. Это давало им ощущение своего равенства с учеными и в какой-то степени помогало переносить боль.

– Спасибо, нормально, – ответил № 135. Но говорил он очень медленно – его губы дрожали и не слушались.

Мы начали читать его медицинскую карту. Здесь было все, что полагается: год рождения, пол, расовые признаки, особенности телосложения, темперамент, группа крови, наследственность, перенесенные болезни (как у всех людей этой профессии, их оказалось немало) и так далее. Все необходимое я занес в свою картотеку. Единственное, что меня несколько смущало, – его год рождения. Но я вспомнил, как, еще работая ассистентом, слышал, да и сам не раз замечал, что сотрудники Службы жертв-добровольцев выглядят, как правило, лет на десять старше, чем в действительности. Записав необходимое, я вновь повернулся к испытуемому, который уже начал ерзать в кресле:

– Ну и как теперь?

Он радостно засмеялся:

– Знаете, до того хорошо! Просто никогда мне так хорошо не было. А уж как я боялся...

Подействовало! Мы приготовились внимательно слушать. Но сердце у меня колотилось. А вдруг он ничего не скажет? Может быть, ему просто нечего скрывать. Или он заранее решил говорить только о пустяках. Как я смогу тогда убедить Риссена и, главное, себя самого? Теория остается теорией, пока она не проверена на практике. А что, если я вообще ошибся?

И тут вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Испытуемый, этот высокий, крупный мужчина, начал жалко всхлипывать. Он сполз вниз и, безвольно повиснув на подлокотниках кресла, стал с протяжным стоном раскачиваться назад и вперед. От стыда за него я буквально не знал, куда деваться. Но Риссен, нужно признать, вел себя великолепно. Не сомневаюсь, что он тоже испытывал неловкость, но ничем этого не выдал.

Так прошло несколько минут. Меня по-прежнему душил стыд, словно это я был виновником позорной сцены. Но откуда мне знать, что там за душой у этих жертв-добровольцев! Хотя фактически испытуемые занимали по отношению к нам подчиненное положение, ни я, ни кто-либо другой из нашей лаборатории не мог считаться их начальством – у них был свой центр, откуда их направляли в разные учреждения.

Мало-помалу № 135 успокоился. Всхлипывания прекратились, он выпрямился в кресле и принял несколько более достойный вид. Чтобы поскорее загладить впечатление от неприятной сцены, я задал ему первый пришедший в голову вопрос:

– Как вы себя чувствуете?

Испытуемый поднял глаза. В дальнейшем мне казалось, что он сознавал наше присутствие и слышал все вопросы, но едва ли представлял себе, кто мы, собственно, такие. Говорил он, адресуясь непосредственно к нам, но так, словно перед ним не конкретные люди (к тому же фактически его начальство), а некие воображаемые безымянные слушатели.

– Я такой несчастный, – сказал он вяло, – просто не знаю, что мне делать. Не представляю, как я это вынесу.

– Что вынесете? – спросил я.

– Да все. Я так боюсь. Всегда боюсь. Не то чтобы именно сию минуту, вообще боюсь, постоянно.

– Боитесь эксперимента?

– Ну да, эксперимента. Хотя вот как раз сейчас я не понимаю, почему так боюсь. Ну больно или не очень, ну сделаюсь калекой или поправлюсь, ну умру или останусь жить – чего тут бояться? А я всегда боюсь. Смешно же, правда, почему человек так боится?

От его прежней вялости не осталось и следа. Он заговорил с какой-то пьяной бесшабашностью:

– И еще я боюсь того, что они скажут. Они скажут: ты трус – и это хуже всего. А я не трус. Не хочу быть трусом. Но что же делать, если я и правда трус? А если я потеряю место? Ну и ладно, найду что-нибудь другое. Всегда можно где-нибудь устроиться. Нет, они меня не выгонят. Я сам уйду. Уйду добровольно из Службы жертв-добровольцев. Добровольно пришел, добровольно уйду.

Он снова помрачнел. На лице появилось выражение горечи.

– Я ненавижу их, – продолжал он сквозь зубы. – Ходят себе в свои лаборатории, сами чистенькие, целехонькие... Еще бы, им нечего бояться всяких ран и боли, разных предусмотренных и непредусмотренных последствий. А вечером идут домой к жене и детям. А разве такой, как я, может иметь семью? Я тоже хотел жениться, но из этого ничего не вышло, сами понимаете. Когда у человека такая жизнь, ему не до женитьбы. И ни одна женщина не станет терпеть такого мужа. Я ненавижу женщин. Они только лгут. Завлекут, а потом бросят. Всех их ненавижу. Ну, кроме тех, конечно, которые работают у нас, но ведь это не настоящие женщины. Их и ненавидеть не за что. А у нас все не так, как у других. Нас тоже называют соратниками, а какая у нас жизнь? Мы все должны жить в Приюте, мы как отбросы какие-то...

Его голос упал до невнятного шепота, но он все повторял: «Ненавижу...»

– Мой шеф, – спросил я, – ввести еще дозу?

Я надеялся, что Риссен скажет «нет», потому что испытуемый вызывал у меня глубокую антипатию. Но Риссен кивнул, и мне пришлось повиноваться. Делая укол, я довольно язвительно сказал:

– Вы правильно заметили, что ваша организация построена на добровольных началах. Чем же вы тогда недовольны? Просто противно слушать, как взрослый человек стонет и жалуется сам на себя. Вы ведь пошли туда сами, без принуждения, не так ли?

Думаю, я бессознательно адресовал эти слова не столько испытуемому, который в своем состоянии едва ли был способен на них реагировать, сколько Риссену, пусть знает, с кем имеет дело.

– Ну, конечно, я пошел сам, – смущенно пробормотал № 135, – конечно, сам, но ведь я не знал, что это такое. То есть я понимал, что мне придется страдать и терпеть, но думал, что это происходит как-то иначе, возвышеннее, что ли, а если умереть, так сразу, с радостью и блаженством. А не так, как сейчас, изо дня в день... Думаю, умереть – это прекрасно... Человек бьется... хрипит... Я видел, как умирал один у нас в Приюте, он бился и хрипел. Это ужасно. Но не только ужасно. Знаю, ничего нельзя изменить. Но я потом все время думал: как это хорошо – взять и умереть! И никто не может помешать, раз человек умирает... Никто... Смерть – это такое дело, которому нельзя помешать.

Я стоял и вертел в руках шприц.

– Мне кажется, он не совсем нормален, – тихо сказал я Риссену, – у здорового солдата не может быть такой реакции.

Риссен ничего не ответил.

– Значит, вы имеете дерзость перекладывать ответственность на других... – начал было я обличительным тоном, но, поймав взгляд Риссена, осекся. В его глазах мне почудилась холодная насмешка. Неужели он считал, что я веду эти разговоры только для того, чтобы показать себя с лучшей стороны перед ним, Риссеном? Я даже покраснел. Но нужно было досказать фразу до конца, и я произнес уже куда более сдержанно: – ...из-за того, что вы выбрали профессию, которая, по вашим словам, вам не подходит?

№ 135, по-моему, не обратил внимания на мой тон, он услышал только сам вопрос.

– На других? – переспросил он. – Но если я не хочу... Хотя нет, тогда я хотел. Такое уж тогда было поветрие – я сам потом часто думал, как же это произошло. Всюду только и слышно было: Служба жертв-добровольцев. Доклады, фильмы, разговоры – все только о Службе жертв-добровольцев. Я тогда думал: да, это великое дело. И мы с товарищами пошли и записались. Вы посмотрели бы на них! Как будто не люди из плоти и крови, а святые. Вы понимаете, лица – как огонь... В первые годы я думал: мы пережили нечто такое, чего никому из обычных смертных не дано пережить, и вот теперь платим за это, но мы в силах, мы можем платить после того, как видели такое... Но теперь мы уже больше не в состоянии. Я не в состоянии... И это воспоминание уходит от меня все дальше и дальше, не могу его удержать. Раньше оно еще иногда возвращалось, само по себе, когда я о нем не думал, но теперь каждый раз, как я пытаюсь его вызвать, – а я должен его вызывать, иначе зачем вся моя жизнь! – так вот, когда я пытаюсь его вызвать, оно не приходит, оно прячется все дальше и дальше. Наверное, я сам погубил его тем, что вызывал слишком часто. Иногда я не сплю, лежу и думаю: а что, если бы у меня была обычная жизнь и я снова пережил бы это великое мгновение, или что-то другое прекрасное сопровождало бы меня всю жизнь, чтобы она снова обрела смысл, – словом, чтобы этот миг не остался где-то там, в прошлом? Вы поймите: человек не может весь остаток своих дней жить одним давно прошедшим мгновением. Ни один человек этого не вынесет. Но ведь все равно стыдно. Стыдно предать единственный стоящий миг жизни. Предать. Почему человек становится предателем? Я только хочу жить обыкновенной жизнью, чтобы в ней был какой-то смысл. Я слишком долго молчал, больше не могу. Завтра пойду и откажусь.

Державшее его напряжение как будто спало. Он заговорил снова:

– Как вы думаете, может быть, такое мгновение придет еще раз, перед смертью? Я бы хотел умереть. А как же иначе, когда от жизни уже ждать нечего. Когда человек говорит: «Я больше не могу», – это значит: «Не могу больше жить». Это не значит «не могу умереть»,

потому что умереть человек может, человек всегда в силах умереть, поскольку тогда он получает то, что хочет.

Откинувшись на спинку кресла, он замолчал. По лицу его разлилась зеленоватая бледность. Тело начало слегка дрожать, руки беспокойно задвигались по подлокотникам. Его, видно, мутило, но что поделаешь, он получил двойную дозу. Я налил в стакан с водой успокоительных капель и протянул ему.

– Он сейчас придет в себя, – сказал я Риссену. – Когда действие препарата заканчивается, могут возникать некоторые неприятные ощущения, но они должны быстро пройти. В каком-то смысле самое неприятное у него еще впереди, когда он снова почувствует страх, да и стыд тоже. Посмотрите, мой шеф, по-моему, за ним стоит понаблюдать.

Но Риссен и так смотрел на человека в кресле, однако лицо у него было такое, словно это ему, а не испытуемому стало стыдно. Сидящий перед нами человек являл собой весьма жалкое зрелище. На висках у него набухли жилы, а губы дрожали от ужаса – куда более сильного, чем тот, что он испытывал в начале эксперимента. Он крепко зажмурил веки, словно надеясь, что недавнее происшествие, ясно запечатлевшееся в его памяти, окажется просто дурным сном.

– Он все помнит? – тихо спросил Риссен.

– Боюсь, что да. Я сам еще не знаю, хорошо это или плохо.

С крайней неохотой испытуемый наконец приоткрыл глаза – ровно настолько, чтобы видеть, куда ступить. Так и не подняв головы, он встал и отошел в сторону, не смея взглянуть на нас.

– Благодарю вас, – сказал я, садясь за стол. (На это полагалось ответить: «Я лишь исполнил свой долг», – но даже самый строгий формалист не стал бы требовать от испытуемого, только что прошедшего эксперимент, полного соблюдения этикета.) – Сейчас вы получите счет. Я выпишу вам по параграфу восьмому – неприятные ощущения умеренного характера, не сопровождающиеся телесными повреждениями. Правда, фактически у вас не было ни болей, ни плохого самочувствия, так что это скорее соответствовало бы параграфу третьему, но я учитываю, что вы... хм... как бы это сказать... потерпели некоторый моральный ущерб.

Он с отсутствующим видом взял бумагу и поплелся к дверям. Там он вдруг остановился и, нерешительно помявшись, заговорил:

– Позвольте мне сказать... Я не понимаю, что со мной случилось. Как будто я сошел с ума и говорил совсем не то, что думаю. Никто не может любить свою работу больше, чем я, и, конечно, мне и в голову не пришло бы с ней расстаться. Я надеюсь еще не раз доказать свою преданность, я готов вынести самые тяжелые испытания на благо Империи.

– Вам придется остаться на старой работе, по крайней мере до тех пор, пока не заживет рука, – ответил я, – иначе вас едва ли возьмут на новое место. И потом, что вы, собственно, умеете? Да и не пристало человеку вашего возраста ни с того ни с сего менять профессию. Учтите, пожалуйста, что и состояние здоровья у вас не блестящее...

Я до сих пор еще помню, каким высокомерным тоном говорил тогда. Дело в том, что я почувствовал к своему первому испытуемому сильнейшую неприязнь. Причин было более чем достаточно: его трусость и эгоистическая безответственность, причем и то и другое он пытался скрыть под маской отваги и жертвенности, так как отлично понимал, что мы хотим видеть в нем именно эти черты.

Да, указания Седьмой канцелярии прочно запечатлелись в моем сознании! Я сам видел, сколь отвратительна тщательно скрываемая трусость, она даже хуже, чем тайная скорбь. Но у моей враждебности имелась и другая причина, о которой я догадался много позднее: зависть. Этот недостойный человек говорил о прекрасном, священном мгновении, пусть давно прошедшем, но все же... Я завидовал тому высокому порыву, что когда-то привел его в Департамент пропаганды, где собирали будущих жертв-добровольцев. Может быть, одно такое мгновение утолило бы сжигающую меня жажду, с которой я напрасно боролся, пытаясь постигнуть внут-

ренный мир Линды? Видимо, тогда я еще не додумал все до конца, но у меня появилось ощущение, что передо мной человек, облагодетельствованный судьбой и не ценящий этого. Это и раздражало меня больше всего.

Между тем Риссен повел себя очень странно. Он подошел к испытуемому, положил руку ему на плечо и заговорил так мягко, словно перед ним стоял не взрослый мужчина, а ребенок:

– Пожалуйста, ничего не бойтесь. Все, что здесь произошло, останется между нами. Считайте, что вы вообще ничего не говорили.

Испытуемый смущенно взглянул на него, быстро отвернулся и выскочил в коридор. Я хорошо понимал его замешательство. Будь у него больше гордости, он плюнул бы в лицо начальнику, который так фамильярно обращается с подчиненными. И кто станет ценить такого шефа, кто станет его слушаться? Тот, кого никто не боится, не может вызвать уважения, потому что оно строится на признании силы, власти, могущества, которые всегда опасны для окружающих.

Мы остались вдвоем, и в комнате наступила тишина. Я не любил перерывы, которые вечно устраивал Риссен – не работа, не отдых, а так, неизвестно что.

– Понимаю, о чем вы думаете, мой шеф, – сказал я наконец. – Вы думаете, что это еще ничего не значит, что я мог заранее подучить его. Эти высказывания, разумеется, компрометируют его, но криминала здесь нет. Ну что, угадал я?

– Нет, – отозвался Риссен, словно очнувшись, – нет, я так не думаю. Он, безусловно, говорил то, что у него на душе, но что он обычно скрывает. Не сомневаюсь, что с начала до конца он говорил искренне, и стыд его тоже вполне искренний.

И хоть такая доверчивость была мне на руку, в душе я все-таки рассердился. Это же просто недопустимое легкомыслие! № 135, в котором, как во всяком солдате в нашей Империи, с детских лет воспитывали строжайшее самообладание и выдержку, мог просто-напросто разыграть спектакль. Но я удержался от замечаний и только спросил:

– Может быть, вы разрешите продолжить?

Но этот странный человек, казалось, меня не слышал.

– Любопытное открытие, – сказал он задумчиво. – Как это вам пришло в голову?

– Я основывался на том, что было сделано до меня. Препарат, оказывающий подобное действие, получили пять лет назад, но он обладал сильной токсичностью. Все без исключения испытуемые после первого же раза оказывались в психиатрической лечебнице. В конце концов туда попало столько народу, что автору сделали строгое предупреждение, на том дело и заглохло. Но мне удалось нейтрализовать ядовитые компоненты. Сказать по правде, я с нетерпением жду результатов проверки...

И как бы мимоходом я добавил:

– Надеюсь, препарату будет дано название «каллокаин», по моей фамилии...

– Разумеется, разумеется, – равнодушно отозвался Риссен. – А вы представляете, какую большую роль может сыграть ваше открытие?

– Думаю, что да. Как говорится, где нужда велика, там и помощь близка. Вы же знаете, что суды завалены ложными показаниями. Не проходит ни одного процесса, чтобы свидетели не противоречили друг другу, и, заметьте, дело тут не в ошибках или небрежностях, а в чем – я и сам не знаю.

– А разве так уж трудно... – Риссен постучал кончиками пальцев по столу, эта его манера всегда действовала мне на нервы. – Разве так уж трудно понять, в чем тут дело? Позвольте задать вам вопрос, можете не отвечать, если не хотите: считаете ли вы, что лжесвидетельство всегда и при всех обстоятельствах – зло?

– Конечно нет, – ответил я раздраженно, – нет, если того требуют интересы Империи. Но я имел в виду рядовые судебные процессы, где решаются мелкие житейские дела.

– Но вы только подумайте, – возразил Риссен с хитрым видом, – вы представьте себе: разве не в интересах Империи осудить негодяя, хотя он, может быть, и не совершал того, в чем его обвиняют? Разве не в интересах Империи осудить моего вредного, испорченного, глубоко несимпатичного недруга, даже если он и не нарушал закона? Он-то сам, обвиняемый, безусловно, потребует детального расследования, но с какой стати столько возиться с какой-то отдельной личностью?..

Я не совсем понимал, куда он клонит, и на всякий случай поспешил нажать кнопку звонка, вызывая следующего испытуемого. Это оказалась женщина, и, делая ей укол, я сказал Риссену:

– Как бы то ни было, с этими лжесвидетельствами творится черт знает что, и в большинстве случаев они вовсе не на пользу Империи. Но мое открытие разрешит эту проблему. Можно даже не проверять показания свидетелей, ведь сам преступник запросто сознается после укола. Все мы знаем, что такое допрос третьей степени... Только поймите меня правильно, я не собираюсь критиковать эти методы, ведь до последнего времени других не было, а преступников нужно разоблачать, и ни один человек с чистой совестью не станет их жалеть...

– Послушать вас, так ваша совесть ничем не запятнана, – сухо отозвался Риссен. – Боюсь, что это самообман. Мой опыт подсказывает, что ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Ну в юности другое дело, некоторые, может быть... Впрочем, вам ведь еще нет сорока?

– Еще нет, – ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. К счастью, я стою спиной к Риссену, так что мне не нужно смотреть ему в лицо. Я был возмущен, и даже не выпадами против меня лично, а вообще его взглядами. Ничего себе картину он нарисовал: у всех подданных Империи зрелого возраста нечистая совесть! Я улавливал в его словах нападки на самые дорогие мне святыни.

Должно быть, по моему тону он понял, что зашел слишком далеко. Мы продолжали работать молча и лишь изредка обменивались замечаниями по ходу дела.

Остальных испытуемых, прошедших передо мной в тот день, я могу вспомнить лишь в самых общих чертах. Естественно, что первый запомнился мне ярче других, но, надо сказать, я так и не был уверен, что мой препарат всегда и во всех случаях действует достаточно эффективно. Может быть, я просто не мог целиком отдаться работе: чувство негодования по отношению к Риссену, отнимавшее у меня много душевных сил, мешало целиком сосредоточиться на эксперименте. Потому-то мне и не запомнились детали, и я постараюсь передать лишь общие впечатления.

До обеда мы приняли семь человек – один никудашнее другого. После этого я почувствовал себя совершенно разбитым. С презрением и ужасом глядя на них, я спрашивал себя: неужели в Службе жертв-добровольцев собрались одни подонки? Нет, невероятно! Такую профессию мог выбрать лишь человек решительный, мужественный, готовый к самопожертвованию и бескорыстный. Я начисто отметал мысль о том, что это работа наложила на них такой отпечаток. Но так или иначе их внутренний мир производил весьма удручающее впечатление.

№ 135 был трусом и скрывал свою трусость. Но он имел одно достоинство: через всю жизнь он стремился пронести память о давно прошедшем, великом и святом мгновении. Другие оказались гораздо хуже. От них я не слышал ничего, кроме жалоб – и не только на свою профессию, раны, болезни, вечный страх, то есть на все то, что они выбрали сами, но и на всякие пустяки – жесткие постели в Приюте, ухудшение питания (значит, они тоже это заметили!), небрежности, допускаемые врачами и сестрами. Может быть, и в их жизни некогда было великое мгновение, только сейчас они его прочно забыли. Думаю, они не приложили таких усилий, как № 135, пытавшийся сохранить память о нем на всю жизнь. Да, сколь ни жалок был № 135, когда я получил возможность сравнить его с остальными, он показался мне чуть ли не героем. У некоторых, кроме того, обнаружились черты, которые вызвали у меня попросту отвращение

и ужас: непонятные чудачества, жуткие фантазии, безмерная, но, как видно, тщательно скрываемая распущенность. Среди испытуемых оказались и женатые, которые жили не в Приюте, а дома; и смешно, и стыдно было выслушивать подробности их брачных отношений. Короче говоря, теперь мне ничего не стоило усомниться в достоинствах сотрудников Службы жертв-добровольцев, а то и всех вообще подданных Мировой Империи или человеческого рода в целом. И каждому из тех, кто проходил через наш кабинет, Риссен торжественно обещал, что все его признания сохранятся в строжайшей тайне. Меня при этом буквально передергивало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.